

АЛЕКСАНДР МАРКОВ

1980

Год рождения
ПОВСЕДНЕВНОСТИ



ТЕТРАДКИ GEFTER.RU

Тетрадки Gefter.Ru

Александр Марков

**1980: год рождения
повседневности**

«Европа»

2014

Марков А. В.

1980: год рождения повседневности / А. В. Марков — «Европа»,
2014 — (Тетрадки Gefter.Ru)

В книге Александра Маркова 1980 год символизирует возвращение эстетики и поэтики в область политических решений и гражданского опыта. События переломного года холодной войны анализируются сквозь призму вышедшей в том же году книги «Изобретение повседневности» Мишеля де Серто и той уникальной смычки литературной и интеллектуальной жизни, которая произошла в тот период. 1980 год стал годом изобретения современной повседневности, превращающей любое техническое изобретение в «гаджет», а любую экономическую деятельность в «инновацию», а также годом осмысления этой повседневности. Как именно осмысление повседневности форматирует саму политическую жизнь — об этом книга.

© Марков А. В., 2014

© Европа, 2014

Содержание

Введение	6
Глава 1	8
1.1. Холодная война как гаджет	8
1.2. Рождение современного потребления	14
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Александр Марков

1980: год рождения повседневности

© Издательство «Европа», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Введение

Два августиновских града, небесный и земной, с ходом истории обросли множеством пригородов. Эти пригороды нужно было вновь включить в городскую среду. Требовалось создание новых типов агломераций – не подключающих новые объекты к готовым образованиям, а изменяющих сам статус объектов. Необходимо было, чтобы пригород не просто работал как часть города, но стал пригородом как миром новых возможностей для самого города. Нужно было, чтобы элементы, до этого искусственно объединенные задачами промышленных империй, ритмично заработали.

В 1980 году война в Афганистане стала пародией на колониальные войны, Олимпийские игры – мнимым апофеозом холодной войны, а быт, становящийся все более легким и мобильным, стал пародией на мобильность старых военных соединений. 1980 год – водораздел между кризисом старой промышленности в 1970-е годы и безудержным экспериментированием с искусственным интеллектом и персонализацией компьютеров в 1980-е годы. Уже немыслимы старые грузные предприятия, но при этом будущее видится еще не как постоянно изменчивое киберпространство, а скорее как тор, воронка, труба, корпус межпланетной станции, вбирающий в себя города, планеты и судьбы. Памятник покорению мира «Атомиум», построенный в Брюсселе на заре космической эры (1958), в сериалах, фильмах и тогдашних аркадных компьютерных играх превращается в образ космических кораблей далекого будущего.

Но продолжение революции в урбанистике было вызвано не только естественными потребностями в быстром передвижении или экологичности: и культ городской скорости в 1970-е годы, и экологическая озабоченность в 1980-е годы – это только отдельные грани более общего процесса восстановления координат миропонимания после травмы начала холодной войны. Не только реальность вызывает к жизни книги; когда речь идет о том, чтобы город из скопления вещей стал реальностью, именно книги вызывают эту реальность к жизни. «Изобретение повседневности» Мишеля де Серто явилось для нас именно такой книгой, не менее важной для «изобретения» современности, чем коллайдер частиц или трехмерная графика: в этой книге состоялся переход от травматического противостояния сторон всемирного конфликта к игре с повседневностью, определяемой заданными в книгах и инструкциях правилами. И деятельность де Серто, и его книга рассматриваются не как подспорье в понимании современности, но как не менее созидаящая современность вещь, чем торговля, реклама или высокие технологии. Более того, если названные явления обустривают периферию жизни, то книга, оказавшись в центре идейных вопрошаний, может неожиданно создать ее ядро.

Рискнем сказать, что именно в 1980 году была создана та повседневность, в которой мы живем. С одной стороны, в этом году началась неумолимая «конверсия», постановка всех технологий, всех способов добычи информации на службу быта – так возникало информационное, медийное общество «мирного воспроизводства» самих форм существования, без их военной регламентации. Но, с другой стороны, если все ставится на службу человеку, то человек оказывается внутри медийной магии вещей; и то, что мы не стали киборгами, а остались людьми – это сделал скромный французский иезуит своей книгой, которую немного кто читал, но которая стала конституцией новой федерации града небесного и града земного.

В этой книге мы решаем два вопроса: каким образом опыт повседневности из опыта «ближайшего контекста» превращается в опыт новой социальной регламентации и каким образом взгляд де Серто на повседневность, будучи взглядом профессионала, противопоставленным взгляду обывателя, при этом расширяет опыт именно обывателя. Почему де Серто использует не традиционную академическую аргументацию, а работает с опытом индивидуального и коллективного воображения? Почему он не изучает культурные процессы, а реализует куль-

турные процессы в самих парадоксах своего мышления и каким образом эти вдруг зависшие перед всеми нами парадоксы становятся экзистенциальной частью нашей жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отказались от обычной монографической аргументации, опирающейся на цитаты и факты, и стали исследовать сами механизмы научного воображения – как именно де Серто, подойдя к этим механизмам как стратег, а не как тактик, изменил сам метод взаимодействия с действительностью в том числе и «среднего человека», а не только стоящего над средними людьми интеллектуала.

Глава 1

Год последнего перелома

1.1. Холодная война как гаджет

Холодная война была одновременно искушением для публичной политики и ее падением. Соблазн, уничтожающий соблазнителя и соблазненного, стоял за, казалось бы, прагматическими расчетами сторон конфликта. Мир мог быть уничтожен ядерным взрывом, но гораздо страшнее, что мир уже гиб от того безволия, которым сопровождаем неудавшийся соблазн. Поэтому мы и говорим о «гаджете»: когда публичная политика сводится к манипуляциям, то результат этой публичной политики, государственная форма, воспринимается уже не как поле новых решений, а как безотказно работающий на обслуживание бытовых нужд механизм. Именно тогда и возникает «повседневность» не только как научная проблема бытовых решений, но и как экзистенциальное содержание текущей политики.

1980-й был годом предельного сужения области публичной политики. Общественные события во Франции и в других странах Европы определяла затяжная война партий, забастовочное движение влияло не на политику государства, а на политику партий, бюрократизация росла подспудно и неуклонно, а философы из всех сил пытались побеждать в интеллектуальных боях с современностью. Во многих странах европейского ареала правительство начинает наступление на свободный рынок: например, в Великобритании принимается «Закон о компаниях», объявляющий уголовным преступлением владение акциями через подставных лиц. По другую сторону Ла-Манша административным преступлением начинает считаться организация забастовки без предварительного тайного голосования профсоюзов – таким образом, профсоюз превращается из инстанции открытой политики в союз людей, вступающих в сговор. После этого в Британии нормой становится забастовка «по правилам»: работники не бросают производство, но до идиотизма точно выполняют инструкции – это единственный способ сохранить свободу действий, когда любое социальное поведение и понимается, и отчасти реорганизуется сверху как заговорщицкое.

В США в этом году появляются первые трещины на фасаде сверхдержавы. Крупные концерны начинают беднеть: «Дженерал Моторе», который прежде был незыблемым примером промышленного могущества и успеха американской модели труда и производства, по результатам года терпит большие убытки.

При этом Европа скорее переживает успех в развитии крупной и стратегической промышленности: президент Франции Жискар Д'Эстен заявляет о скором возможном создании нейтронной бомбы. Причем это заявление свидетельствовало не о решении реальных оборонных задач, а скорее о попытке нейтрализации бюрократии на всех уровнях: чиновники фактически лишались возможности влиять на среднесрочные и долгосрочные решения, поскольку президент единолично мог потребовать мобилизовать все промышленные и финансовые ресурсы на ядерную программу. Таким образом, за, казалось бы, плакатным заявлением времен холодной войны стояла реформа, по силе сопоставимая с отменой дворянских титулов во время революции.

Во Франции в этом же году проводится самая неблагоприятная университетская реформа. Правительство, в стремлении сократить бюджет, вводит лимит на количество и виды изучаемых одним студентом дисциплин. Хотя эта реформа и рассматривалась властью исключительно как бюджетная, связанная с голым денежным оборотом, на самом деле она представляла собой откровенное попрание принципа университетской автономии. Профессора, за ред-

кими исключениями, не протестовали против этой реформы, ожидая скорой реорганизации кафедр и расширения своих прав – здесь правительству удалось ничтожными средствами расколоть академическое сообщество, не допустив объединения профессоров со студентами.

Общий дух спускаемого сверху разобщения проявился и в сфере создания действительных или мнимых политических автономий. В 1980 году в Европе были сделаны определенные уступки сепаратизму: так, в Квебеке проходит референдум о независимости, о чем раньше могли только мечтать, а в Испании страна басков получает статус постоянной автономии. Причем «автономность» означает нечто большее, чем самостоятельное решение некоторых вопросов, – это означает, что чиновничество должно быть баскским или хотя бы знать язык местного населения. Сведение автономного существования к выучиванию языка, хотя бы на минимально приемлемом уровне, позднее стало общим местом во всей Европе, вплоть до требования прибалтийских государств в 1990-е годы, распространяемого на всех граждан, то есть на людей, просто потенциально способных стать чиновниками или полицейскими, знать язык своей страны. Символическая логика сепаратизма окончательно одерживает верх над его реальной логикой, сводящейся к отгораживанию от наиболее прямых воздействий центральной власти. Речь уже не идет об изобретении национального языка – теперь требуется всего лишь сдать несложный языковой экзамен, никак не влияющий на идентичность людей, живущих на этой территории. Но именно с решением по баскскому и сходным вопросам кончилась эпоха, когда европейские нации подозревали друг друга в коллаборационизме, в желании сдать свои интересы более влиятельным силам. Теперь эти подозрения остались в прошлом. Неслучайно в этом же году, в апреле, Испания открыла границу с Гибралтаром, закрытую в 1969 году, тем самым подтвердив, что не боится даже самого интенсивного сотрудничества с недавним стратегическим противником.

В Восточной Европе зарождалась публичная политика, олицетворяемая новыми общественными силами. Именно в этом году польское рабочее движение добивается первых побед: в декабре в Гданьске открывается памятник рабочим, погибшим во время подавления забастовки 1970 года, – немыслимое для восточного блока признание права слабого не только на защиту, но и на славу. Но в том же году в Чехословакии был арестован оксфордский профессор Энтони Кенни. В отличие от Деррида, который накануне ареста спецслужбами ЧССР успел провести целый подпольный семинар, Кенни выступал всего минут сорок, когда в дом неожиданно ворвались вооруженные стражи порядка. Арест был нужен не для того, чтобы судить иностранца (хотя незадолго до этого Деррида провел почти месяц в чешской тюрьме), а чтобы не давать ему въездной визы как лицу, официально заинтересовавшему органы правопорядка.

Таким образом, социалистическое государство обращало свое беззаконие в способ окончательной легитимации своего суверенитета: государство решает публично, кому давать визы, а кому нет, и выступает, таким образом, как монарх, открыто заявляющий свою волю. Другое дело, что сувереном такое государство могло быть, только время от времени усиливая градус внутреннего беззакония. Можно назвать еще один столь же показательный пример жульнической самолегитимации позднего социализма: признание Иллинойским университетом научных заслуг Елены Чаушеску, супруги румынского премьер-министра, ставшей в том же 1980 году его заместителем. Мировое научное сообщество было уверено в неподлинности трудов по химии полимеров малообразованной Е. Чаушеску, но тем не менее Иллинойский университет, который она сама потом назвала «еврейским» и «грязным», счел ее достойной почетного звания.

В то время как страны восточного блока выигрывали от незаконной легитимации собственного суверенитета (в качестве виртуального монарха, способного милостиво даровать визы и сурово вводить полувоенное положение, или в качестве, как мы видим, ученой матери нации), СССР в этом отношении только проигрывал: бойкот московских Олимпийских игр (впрочем, во Франции Олимпийский комитет не хотел поддерживать бойкот и уступил только

под политическим давлением) – лучшее тому подтверждение. СССР был вынужден полностью признать правила Международного олимпийского комитета, по которым команды бойкотирующих стран выступали только под флагом МОК (исключением стала социалистическая Румыния, выступавшая под своим флагом), и таким образом, при всем доброжелательном отношении к СССР, многие страны не могли признать полного суверенитета за СССР в отношении покровительства спорту.

Ослабление позиций одного из протагонистов холодной войны сдерживалось внутренними неурядицами в Северной и в Западной Европе. Таков был срыв дрейфа к социализму в Скандинавии: плохие экономические показатели в Швеции, как результат многочисленных забастовок, заставили правительство усилить программы кредитования, а значит, усилить торговлю, в том числе со странами восточного блока. Эти события очень важны – в ситуации внутренних неурядиц послевоенный опыт фронтального противостояния советскому блоку оказался никуда не годен. Отношения с СССР и со странами Центральной Европы нужно было выстраивать заново, как бы с нуля, меняя свою внутреннюю политику и обнаруживая большой ресурс внешнеполитического сотрудничества и положительного торгового баланса.

Франция также была увлечена этим поветрием в новейшей политике и подписала договор с ГДР об экономическом и техническом сотрудничестве. Францию мало интересовало усиление СССР в других точках земного шара, но она не хотела идти в фарватере политики США, политики тотального сдерживания советских амбиций, и договор с ГДР означал окончательный отказ от ее претензий на ведущую роль в мировых делах. Таким образом, во французской политике в очередной раз побеждает идея открытого торгового государства, которое получает политические дивиденды от сотрудничества с более замкнутым германским торговым государством. Эта новая стратегия позволила расширить ассортимент товаров и услуг и при этом ослабить влияние банков на состояние промышленности.

При этом СССР упускает один за другим все шансы продемонстрировать «преимущества» социалистической системы (по совпадению в этом же году умирает последний советский реформатор А. Н. Косыгин) и самое большое, на что хватает его ресурсов, – глушение западных радиостанций, возобновившееся после августовских забастовок на Гданьской судовой верфи. Тем временем в самой Польше в октябре 1980 года была зарегистрирована общественная организация «Солидарность», которая сразу же стала не только таможенным альянсом, но и политической силой: именно ультиматум Европейского экономического сообщества предотвратил усиление советского военного присутствия в Польше. Мы видим, что эта политическая сила не имеет манипулятивных намерений: она не манипулирует разными политическими группами влияния, а работает в режиме «да или нет». Позиция ЕЭС усилилась еще больше после того, как Великобритания не справилась с иранской проблемой и сотрудники посольства вынуждены были бежать. Прочие подробности внутренней жизни Британии, вроде приватизации железных дорог, окрасили ее положение дополнительными печальными оттенками.

Одновременно с фильмом «Стена» группы Пинк Флойд в 1980 году выходит книга Делёза и Гваттари «Тысяча плато». Это выдающееся произведение оказалось почти незамеченным критикой, но оно было симптоматично именно для своего времени. В книге Делёза и Гваттари исследуется новый тип войны, войны варварской: воюющие стороны не сражаются ни за какие идеалы; напротив, они увлечены своим собственным зверством и своей собственной дикостью. Но главное открытие Делёза и Гваттари состояло в фиксации перемещения передовой мирового развития из области возвышенных идей и мыслей в область торжества самых диких инстинктов. Нельзя не увидеть в артистических размышлениях двух философов параллель с только что описанным нами состоянием Евросоюза: если раньше, помимо таможенных оснований объединения, был еще обмен передовыми разработками, то теперь объединение происходит уже преимущественно на политико-бюрократических основаниях.

В науке совершается окончательная переориентация с масштабных проблем энергетики и машиностроения на биологические и медицинские проблемы. Это говорит о том, что энергетика стала частью политики и явлением национальной экономики, а не передовой научного изобретательства. Не случайно в этом же году в США выходит «Энциклопедия американской экономической истории», которая подвела черту в споре между институционалистами и либералами о степени возможного регулирования энергетического рынка. Отныне то, какие именно энергоресурсы будут разрабатываться, определяет макроэкономическая ситуация, а вовсе не отчеты лабораторий. Зато в биологии и медицине в 1980 году происходят поворотные события: успешно пересаживаются гены от одной мыши к другой, у мыши успешно приживается крысиная инсулиновая железа. Де Серто видел в подобных научных микрореволюциях новое достижение цивилизации – вместо переноса из биологической области в область технологическую, как это было прежде (самолет по образцу птицы), здесь происходит обмен биологическими технологиями между самими организмами, которые начинают теперь сами адаптироваться к своему существованию всю полноту накопленного природой опыта.

В США консервативная мысль сходитя с религиозной мыслью, развивается религиозное радио и телевидение. Консервативная мысль присваивает себе и искусство XX века: так, в каталоге выставки Пикассо в Музее современного искусства в Нью-Йорке авторы писали о «метафоричности» творчества этого художника. Вместо того чтобы признать в нем революционера формы, в нем видят углубленного, едва ли не мистического художника. Конечно, этот контрреволюционный консерватизм был явлением временным и недолгосрочным.

В этом же году был убит Джон Леннон. Это преступление поразило всех не только самим своим фактом, но и тем, что уже очень давно, со времен Средневековья, убийство не было так тесно переплетено с доверием: незадолго до выстрела будущий убийца брал у Леннона автограф и, казалось, улыбался кумиру вместе с тысячей поклонников. Это убийство было символически вероломным, и оно доказало невозможность дружбы между кумиром и поклонниками. Звезда не может запросто зайти в кафе со своим обожателем; звезда может быть либо забором из охранников, либо за столь же плотным забором из релизов альбома.

В этом же 1980 году выходит первый культурологический детектив – «Имя розы» Умберто Эко. До этого европейская литература знала только один пример представления культурологических теорий в художественной форме – «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, в котором выдающемуся романтику для иллюстрации простого тезиса о смене визуальной культуры идеологизированной текстовой пришлось уделить основное внимание миру маргиналов: церковных служек, цыган, поэтов. Умберто Эко уже не нуждался в том, чтобы маргинализировать героев первого и второго плана: напротив, он написал роман об интеллектуальной элите того времени, незаметно обойдя культуру безмолвствующего большинства. Его Средневековье – это элитная школа, в которой философские вопросы обсуждаются после того, как все прочие загадки жизни решены или кажутся решенными.

Ватикан реабилитирует Галилея: на самом деле это была отмена вердикта 1633 года. Теперь Галилей не просто признан невиновным, но и само выдвижение ему обвинений признано не имевшим никаких оснований. Чтобы оценить это решение, нужно учесть, сколь сильны были в Италии традиции «государственной необходимости», подчинявшей себе в том числе и приоритетные разработки в области космологии. С тех времен, когда ренессансные принципы присвоили себе само время (не нужно напоминать, что как с августиновской, так и с томистской точки зрения употребление времени не во благо – тяжкий грех) и украсили свои дворцы космологической символикой, вся космология стала существовать как придаток к аллегорическим толкованиям. Если космос стал просто магистралью, соединяющей священные и профанные тексты, Библию и панегирик правителю, отменить решение, нелепое даже для многих современников Галилея, было весьма трудно. Тем более Галилей был обвинен в неумении толковать Писание, то есть в том, что он хуже астрологов, которые свое проклятое

искусство еще как-то могут согласовать с Писанием. Но Италия была очень слаба: последний раз она имела влияние на европейские дела в начале 1950-х годов благодаря союзу с Францией и созданию франко-итальянского таможенного союза, одного из прообразов ЕЭС, а в 1970-е годы была истерзана взрывами «красных бригад». Но здесь, отменив целую политическую традицию присвоения интерпретаций политического, сменившую ренессансное присвоение политических мифологий, Италия заявила о том, что и к ее голосу Европа должна прислушиваться.

В год выхода главной книги де Серто умерли Альфред Хичкок и Генри Миллер. Генри Миллер, биографически тесно связанный с французской «повседневностью», оказывается поразительно близок де Серто в понимании ее сущности: и прежде всего в том, что для него повседневность не была ограничена географическими рамками. Путь к ней – это не ориентация среди вещей, а подчинение себя своему внутреннему ритму, ритму своего здоровья или своего либидо (памятная сцена велосипедной прогулки в фильме «Генри и Джун», посвященном истории создания «Тропика Рака»). И как раз де Серто, который никогда бы не согласился с нигилизмом Генри Миллера, вполне совпадал с писателем в таком резком разведении повседневности и географии.

Для кинематографа этот год был поразительно бедным: популярные в США «Братья блюз» не имели резонанса в Европе, в отличие от фильма Уолтера Хилла «Перекресток» (1986). Во Франции на экраны выходит абсурдистский мультфильм «Король и птица», снятый по мотивам произведений Андерсена в переработке Жака Превера как попытка заимствования техники японского аниме. Единственное однозначное достижение мирового кинематографа – «Сияние» Стэнли Кубрика, триллер, в котором обосновывалось понимание определенного пространства (в данном случае отеля) как места столкновения виртуальных реальностей. Не случайно некоторые не вошедшие в фильм кадры позднее были обыграны в блокбастере «Бегущий по лезвию».

В 1980 году создается «интелпост» – международная телефонная линия повышенной пропускной способности, предназначенная для передачи факсов, по сути дела, предшественник широкополосной связи. Но важнее то, что именно с 1980 года начинается производство бытовых микроустройств: это следующий, после изобретения транзисторного приемника, этап на пути к превращению устройств для передачи сигнала в часть человеческого тела. В 1982 году началось массовое производство компакт-дисков, хотя сама технология была разработана на несколько лет раньше, а в 1984 году вышел на прилавки компьютер-моноблок Macintosh. В этом небольшом устройстве, стоявшем как подержанный автомобиль, уже был использован известный всем нам принцип «иконок» и «окон».

И в том же году компания Sony создает уокмен – устройство, фирменное название которого стало нарицательным для обозначения переносного нагрудного или карманного плеера. Уокмен был оснащен функцией записи, то есть он был задуман как некоторый аналог фотоаппарата, но только если фотоаппарат требовал большой обслуживающей индустрии в виде фотолабораторий, наборов объективов и т. д., то для уокмена не требовалось ничего, кроме сменных кассет. На практике, конечно, уокмен стал просто компактным проигрывателем, который позволял своему владельцу чувствовать себя знатоком музыки.

Такая «культура в кармане» – это не только плееры и карманные издания книг. Во Франции в 1980 году телевидение вновь отвоевывает радиоаудиторию, облегчая и укорачивая «форматы», а на смену прежней бетонной архитектуре даже в провинции приходит стеклобетонная. В быту утверждается мода на прозрачные вещи. Апофеозом такого присвоения культуры как чего-то общедоступного, зрелищного, ставшего прозрачным и присваиваемым стала провокационная коллекция Жана-Поля Готье, показанная в 1981 году и во многом определившая «стиль 80-х».

В 1980 году умирают два патриарха общественно значимой мысли – Эрих Фромм и Жан-Поль Сартр, которых объединяло стремление к публичности. Они действительно могли вли-

ять на мировые дела. Но их критика успешно атаковала только старый тоталитаризм, исходивший из подготовки к войне, из манипулирования массами ради мобилизации. Они оба считали нужным разоблачать намерения, но до самого конца своей жизни не учитывали, что войны после деколонизации возникают не в результате намерений, а в результате политической игры, в которую вовлечены в том числе спецслужбы. Если раньше спецслужбы устраивали провокации и задачей авторитетного писателя было разоблачение провокаторского поведения (как это было в деле Дрейфуса), то теперь и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в других точках земного шара страны сами провоцируют друг друга, а спецслужбы наблюдают за ними как за лабораторными крысами, с помощью которых они могут создать новые лекарства и открыть новые рецепты.

Вообще, пафос наблюдения над объектами естественных наук вполне соответствует пафосу наблюдения над городом, который отличает главный труд де Серто. Логическим пределом такого наблюдения стало патентование выведенных в пробирке микробов (дело «Даймонд против Чакрабартти»): уже не только технологии, но и сами объекты находятся под пристальным юридическим наблюдением. Так наука окончательно превращается из поисков наиболее творческого варианта решения проблемы в проверку наличия ресурсов: есть ли еще новые микробы, новые технологии или новые материалы. И эта проверка может быть осуществлена только при условии существования идеального зрителя, в виде международного авторского права, консалтинговой фирмы или авторитетного совета экспертов. В науке начинается неуклонное движение в сторону власти экспертов, которая приходит на смену власти институционального порядка.

Власть экспертов утверждается не только в силу необходимости непрерывного контроля, но и в силу роковой необходимости. Так, в 1980 году в США была неожиданно объявлена ядерная тревога. Потом оказалось, что во всем виноват пентагоновский суперкомпьютер, на который все смотрели как на идеальное воплощение технической цивилизации: небольшой сбой, вероятно от кратковременного падения напряжения, чуть не вызвал апокалиптическую панику. Можно сказать, что это событие явилось прообразом многочисленных фильмов-катастроф: неожиданный «вирус», сбивающий готовую программу, влечет угрозу вселенской катастрофы, которую можно было провидеть и просчитать. После этого случая создается новый тип контроля над самими компьютерами – сетевой, в котором участвуют несколько операторов.

1980 год, бедный на внешние события, оказался богат на трансформацию основополагающих представлений о внешней и внутренней политике, экономике и быте. Все эти представления, ранее казавшиеся незыблемой основой социального порядка, пересмотр которого был возможен тоже только по определенным правилам, продемонстрировали свою зыбкость. Социальные институты обернулись производными от тех рамок восприятия, в которые они были помещены социально активными наблюдателями, и даже малая социальная активность, в соединении срезкой переменой угла зрения на события, была способна повлиять на значимые политические и экономические структуры, изменить приоритеты в научно-техническом развитии. Повседневность начинает торжествовать: обычаи малой группы в поворотные времена могут остаться незамеченными, а в глухие времена морального упадка конца холодной войны – выйти на первый план.

1.2. Рождение современного потребления

Поэтическое отношение к действительности, таким образом, было предопределено освобождением повседневности от готовых политических и экономических ситуаций: действительность становится совершенно непредсказуемой и при этом снабженной достаточным числом ярлыков, чтобы назвать ее «повседневной». Первая область, в которой де Серто проявил себя как теоретик, была теория потребления, которое было понято не как механизм расходования средств, а как самый простой поэтический жест – жест признания некоей вещи объектом. Если мы понимаем высказывание как созидание и субъекта, и объекта, и интенции, то это выстраивание объекта и должно было раскрыть интенции современности. Де Серто выступает здесь не как теоретик вещей, но как теоретик, исследующий границы этих интенций. Эти границы попытаемся установить и мы, чтобы понять, как именно Серто в дальнейшем восстанавливал поэтический смысл высказывания о реальности.

Мишель де Серто был одним из теоретиков общества потребления. Главное его отличие от таких теоретиков потребления, как Ж. Бодрийяр, состоит в том, что он обращал основное внимание на структуру желания, а не на ход его исполнения. Бодрийяр указывал на то, что современный человек уже почти не способен мечтать: едва он успевает подумать о вещи, как тут же начинает тонуть в «море имиджей». Такая точка зрения восходит к семиотике Р. Барта: Барт считал, что всякий знак в мире моды не только указывает на характер потребления, но и вызывает те ассоциации, которые будут сопровождать это потребление, хотя эти ассоциации (например, «экзотичность») уже никак не связаны с природой продукта. В системе Р. Барта, таким образом, есть ряд статических образов, которые властно создают правила потребления, (яркое, вкусное...) и есть динамические ассоциации, разрозненные и весьма произвольные (экзотика, необычность...). Потребности человека устроены так, что он должен все время возвращаться к «правилам», и потому он легко переходит от «потребления собственного образа» к потреблению товаров, которое ассоциируется с «участием в жизни общества». Только Барт описывает это как неизбежное свойство знаков, а Бодрийяр – как манипуляцию сознанием с помощью знаков.

Мишель де Серто настаивал на том, что в обществе потребления главным является не присвоение знаков и вещей, которое есть в любом обществе, а способ владения уже присвоенными вещами. Особенность общества потребления состоит в отождествлении овладения вещью и владения ею. При этом, в отличие от Фуко, который пытался реконструировать общую для всей новой Европы стратегию власти как «присвоения и подавления», де Серто утверждал, что Фуко недооценивает критические способности власти: Фуко рассматривает власть как некритическую безличную силу, которая делает столь же безличным и прозрачным любой предмет присвоения, очищая и опустошая его. Но де Серто указал на то, что любая власть выстраивает собственный образ не только из присвоенных способностей (всеведения, всемогущества), но и из разнородных практик (милосердия, справедливости), и в этом отношении разрыв между средневековой и нововременной властью не столь велик, как это казалось Фуко.

Фуко настаивал на резком различии между историческими и филологическими дисциплинами: исторические дисциплины прослеживают, каким образом из данных предпосылок возникают те или иные события, тогда как филологические дисциплины интерпретируют их. Интеллектуальная история, которую изобретал Фуко, мало отличалась от традиционной истории: Фуко настаивает на том, что в ней, как и в обычной истории, конфликтная ситуация создает коллизию соотношения сил, то есть некий «сценарий», хотя этот сценарий и не выглядит как предопределенный и тем более стандартный. Тогда как для де Серто история начинается с событий: социальная и культурная история различаются тем, что в социальной истории события изменчивы, тогда как в культурной истории они неизменны.

Можно отметить, что в таком подходе к истории проявилась феноменологическая выучка де Серто: он исходил из того, что в социальной жизни фиксация события неотделима от его оценки, тогда как в культурной жизни оценка события говорит не только о его строении, но и о состоянии того, кто его оценивает. Радикальная критика европейской истории у Фуко подразумевала, что критик будет всякий раз возвышаться над теми явлениями, которые он реконструирует, и, благодаря тотальности своего суждения, вскрывать противоречия в изучаемых явлениях, а не в собственной позиции: реальный конфликт важнее интеллектуального противоречия в его оценке. Де Серто всякий раз оговаривает, что никакие исторические конфликты не могут быть сведены к готовым интеллектуальным схемам: они всегда включают в себя свои непроговариваемые истоки, эксплицируемые в языке описания социальной ситуации. Для него сценарии Фуко – это чистые фикции, поскольку на самом деле все сценарии заключены в социальном языке.

Поэтому для де Серто реальная история представляется скорее не постройкой, параметрами которой (например, вместилище, возможности реконструкции) мы можем оценить, а руиной, по которой мы можем судить о прежних конфликтах и событиях, приведших к данному состоянию. Представление де Серто о руинах лишено обычного для этой темы напряжения, конфликта между цельным, но хрупким прошлым и раздробленным, но грубым настоящим. Он избегает восходящей к романтикам метафоры «руин» как нынешнего состояния мира и отдает предпочтение метонимии перед метафорой. Руина – это метонимия падения и несбывшихся замыслов, тогда как стройность и очарование руин – это результат действия нашего воображения. Разрыв между прошлым и настоящим де Серто также понимает не метафорически, как провал, увлекающий за собой наше воображение, а метонимически, как непреодолимую границу между реальностью и текстом об этой реальности.

Согласно де Серто, всякая история пишется по определенным правилам, с опорой на определенные фигуры речи, например метафору, метонимию или синекдоху. Но в XX веке продуманный и организованный язык окончательно превратился в простой инструмент эффективности: любой призыв стал пониматься как руководство к действию и любое величие – как требование коллективного действия. Поэтому граница между историческим текстом и материальной реальностью стала зыбкой: если сбываются все идеологические желания, то почему не могут сбываться и материальные, почему не может потребляться вещь, которая и метафорически, и метонимически была уже названа на письме?

В отличие от Ролана Барта, различавшего два уровня: уровень внешних ассоциаций и уровень законов построения образа, – де Серто различает только материальный мир и его симулятивное отражение в текстах. Дело в том, что Барт стремился сохранить представление об исторической обоснованности потребления: для него потребление было обусловлено действием некоторых законов желания, а обосновывалось с помощью ассоциаций – в этом подход Барта ничем не отличался от подхода политически активного гражданина XIX века, который черпал основания политического действия не из конкретной социальной реальности, а со страниц газет.

По утверждению Мишеля де Серто, такой подход несколько наивен: всякий историк использует в работе образы, знаки и характеристики человеческого мира, предоставляемые ему социальной реальностью, в которой он обитает. Эта мысль де Серто звучала бы тривиально или вызывая пессимистично, если бы не оговорка, что само понятие исторической науки не является «пустым»: история как повествование не может считаться равнодушным зеркалом перипетий, которые разыгрывались на всемирной сцене, внушающим тревожное предчувствие других, не менее драматических и горестных событий. На самом деле историческое повествование изначально предполагает определенное упорядочивание своего материала, поскольку «артикулирует» его и вычленяет именно те мотивы, которые кажутся наиболее социально значимыми и социально приемлемыми.

Если для постструктуралистов «артикулирование» представляло собой способ привлечь внимание к высказыванию (так, оратор, громко произносящий речь на небольшой площади или через мегафон, не может не привлечь к себе внимания), то для де Серто оно означало переработку высказывания, совершаемую по определенным правилам, когда содержание должно соответствовать «вывеске». Например, если слово «история» означает повествование, то и в анализе исторического действия должны подчеркиваться моменты связности и мотивированности: только тогда можно вывести историю из бешеной пляски случайных оценок.

Мишель де Серто говорил о том, что текст историка не просто мысленно переносит читателя в прошлое, позволяя ему оценить значение отдельных событий и дать моральные характеристики отдельных личностей и их поступков. Он говорил о том, что текст историка позволяет впервые увидеть прошлое как связный текст и отрешиться от тех оценок, которые внушает нам язык, будь то естественный или художественный. Де Серто применяет здесь довольно сильный образ: когда мы читаем исторический текст, то слова исчезают, и перед нашим взором предстает прошлое как таковое – и это вовсе не означает, что мы, силой нашего воображения, можем преодолеть частную семантику отдельных слов, описывающих историю. Напротив, всякое воображение отступает, когда мы сталкиваемся с реальностью, способной самостоятельно подобрать самые сильные образы для выражения их на письме.

Де Серто спорит с постструктуралистскими концепциями в том числе по вопросу о «продуктивности». В наши дни одним из самых распространенных стало сравнение текста с фабрикой смыслов, когда текст мыслится продуктивным ресурсом, вызывающим социальное внимание, а это означает, что деятельность автора исторических текстов отныне трактуется как фабрика социальных состояний. С точки зрения де Серто, автор исторических текстов не имеет преимуществ перед своим произведением: его ресурсы репрезентации прошлого не больше тех, которыми обладает любой отдельный текст о прошлом, не обязательно историографический. Де Серто показал, что сама мысль об интеллектуальной продуктивности историографии возникла вследствие наивного использования натуралистических метафор, вроде той, что под пером автора оживают смыслы. Но даже сама мотивация исторического исследования устроена так, что перо автора следует уже совершённым обстоятельствами выбору «интересных» и «годных для исследования» тем: необходимо соблюдение слишком большого числа не зависящих от автора исторического сочинения условий, чтобы тема была не то что интересной, но даже вообще поддающейся описанию и исследованию. Де Серто говорил, что всякое иное истолкование этого вопроса порождено наивным перенесением в ремесло историка социальных и политических теорий с их особенностями и амбициями: такие теории должны постоянно поддерживать интерес публики, поэтому они стремятся представить свой предмет как заслуживающий особого внимания.

При этом для де Серто история гораздо более идеологизирована, чем социальные науки: она неизбежно включает в себя мифологию «развития», отождествляющую производство смыслов с активным воздействием на политику. Историк выдвигает отдельные положения, которые потом подтверждаются или не подтверждаются фактами, тогда как читатель воспринимает все это как действительное развитие через отрицание. В отличие от марксистского и других политизированных пониманий идеологии как сознания отдельных социальных групп, де Серто утверждает, что идеологию создают историки, а социальные группы только организуются вокруг чтения «интересных» им историй, опять же, воспроизводящих опыт столкновения историка с внутренними законами каждой из социальных страт. Всякий раз происходит смешение: читатели исторического труда читают о частных обстоятельствах собственных поступков, но воспринимают это так, будто они читают о своем жизненном мире. Поэтому чем больше они отождествляют собственную повседневность с законами, унаследованными из прошлого, тем больше они становятся потребителями своих собственных решений и поступков.

Общество потребления отличается от предшествующих состояний общества тем, что если раньше нужно было маскировать истоки своего дискурса об истории (то есть нужно было всячески маскировать свой социальный, групповой, классовый интерес за плотным забором «фактов»), то теперь никто ничего не маскирует. Играя в компьютерную игру, собирая конструктор «Лего» или ощупывая новую одежду, современный потребитель как раз с головой выдает не только действительную, но и желанную социальную принадлежность, вмещая в текущее потребление и все свои будущие социальные практики. За компьютером он менеджер, за сборкой конструктора – житель социальной реальности, а за рассматриванием одежды – мирный рантье. В рассуждениях де Серто интересно то, что он имеет в виду не только успешные, но и неуспешные практики потребления, понимая, что действительные «амплуа» не всегда успевают за возможными «ролями». Если Бодрийяр связывает потребление с образами себя, то де Серто – с образами будущих социальных практик.

Теоретики постструктуралистского типа говорили о «производстве реальности», но при этом не говорили о том, что тип производства этой реальности также определяется реальностью. Для них тип производства определялся цифрами, общественными закономерностями, соотношением сил, которые, опять же, можно обозначить цифрами или буквами. Таким образом, в постструктурализме, как и в марксизме, различались реальность причин, которые подлежат исключительно научному познанию по определенным правилам, и реальность следствий, которая составляет содержание нашего текущего опыта. Мишель де Серто резко порывает с левой мыслью и утверждает, что и реальность причин, и реальность следствий одинаково ощутимы, но для их сопоставления не существует каких-то готовых правил.

Различие между этими двумя реальностями – не в их природе и не в производимых эффектах, а только в том, каким образом они соотносятся с практиками. Реальность причин, которую изучает историография, всегда «камуфлирует» практики, всегда заставляет нас смотреть на них с того расстояния, когда нам еще приходится разбираться, что с чем соотносится: мы как бы заглядываем в окна, пытаемся по теням и силуэтам понять, что происходит в доме. Напротив, реальность следствий позволяет нам приподнять крышу и, то взмывая вверх, то снижаясь, в деталях рассмотреть устройство практик: только так мы можем понять, как организованы практики, хотя описать их «суть» с этой точки зрения гораздо труднее.

Исходя из своей теории практик, де Серто предложил программу перестройки историографии. Современная историография, считал он, остается очень идеологизированной дисциплиной, потому что считает свою практику классификации и упорядочения объектов познавательной. В результате историки сами не замечают, как они с чрезмерной эмпатией начинают относиться к деятелям прошлого: они считают, что именно в прошлом люди действительно познавали, а если и страдали, то от того, что сами не очень понимали тот мир причин, в котором жили. В то же время в идеологизированной современной историографии современность, наоборот, постоянно подвергается упрощению, она выглядит как ненужный придаток тех следствий, которые, по мнению историков, как раз и позволяют ясно разглядеть картину прошлого.

Мишель де Серто настаивает на том, что язык историографии имеет много общего с языком обыденным: и обыденное словоупотребление, и исторический рассказ стремятся поместить непокорную реальность в упаковку из готовых понятий, дабы любое действие выглядело закономерным, отвечающим уже сложившимся представлениям о мире и людях. Например, когда историк изображает любое внесистемное событие в прошлом или настоящем как «сопротивление власти», он ничем не отличается от кладовщика, осматривающего коробки на предмет отсутствия повреждений. И то, что теоретики историографии выдают за «систему» исторического знания, на самом деле представляет собой всего лишь аккуратно оформленную складскую книгу.

Для де Серто история как процесс состоит из множества различных порядков, порожденных множеством различных поступков. Примерно таким же образом множество порядков

может быть порождено какой-либо отдельной конкретной вещью: например, мы можем говорить о любой бытовой вещи как о полезном предмете, или показателе развитого производства, или дорогим воспоминании, или составляющей престижа, или одним из способов общения представителей конкретной прослойки. Точно так же любое событие может оцениваться и как полезное для всех сограждан, и как результат развития страны, и как просто интересный момент жизни. Де Серто считал ошибочным то, что его предшественники различали поступок и событие не на основании внутреннего изучения явлений, а исключительно на классовых основаниях: скажем, деятельность правителя могла описываться как «событие», а протест – как «поступок», и наоборот.

В результате создавался привилегированный дискурс, возвышающий отдельные решения, часто продиктованные обстоятельствами, до степени вселенских переворотов, а все прочие решения низводящий до статуса простого оформления тех событий, которые по разным причинам были признаны высокими или героическими. Цель де Серто, напротив, состояла в том, чтобы не просто дать слово безмолвствующему большинству, но показать, что события из жизни простых людей не менее значимы, чем действия «лидеров»; причем де Серто имел в виду не ту «значимость» судебных, о которой говорила постромантическая литература, но реальные возможности события объединять смыслы, каждый из которых связан с социальным поведением людей, и приводить в движение все, что попадает в поле его действия. По мнению де Серто, только слишком литературное, «метафорическое» понимание смысла мешает нам увидеть эту динамичную ткань истории. Вместо этого мы видим только отдельные знакомые вещи и сводим любое потребление к потреблению этих родных для нас вещей, потому любое потребление начинает казаться нам успешным: мы не учитываем, что помимо потребления привычных предметов быта существует также потребление идей, возможностей, примеров и моделей социального поведения.

Единственное исключение в доминирующей идеологической историографии – «семейная история», в которой реально не только то, что знакомо и присвоено: события семейной истории делятся на «высокие» и «низкие», а значит, не могут считаться окончательно присвоенными. С точки зрения де Серто, это разделение является не «политическим», на чем настаивали постмодернистские теоретики, а мифотворческим: когда семейство стремится подчеркнуть значение своей деятельности, оно настаивает на том, что она разворачивалась в «высшем» окружении, а ее рецепция была низкой и дискурсы выживания оказались сильнее власти событий мирового масштаба. Но именно поэтому де Серто не считал «семейную историю» историей потребления; он скорее считал ее идеальным предметом потребления: сколь бы неудачной ни была рецепция, она не подрывает качество потребляемого имиджа.

Необходимо отметить еще один важный момент рассуждений Мишеля де Серто о природе исторического сознания, который лег в основу его книги «История как письмо» (1975) и далее воспроизводился в других его работах. Согласно де Серто, историческое сознание возникает тогда, когда прекращаются постоянные изменения исторической ткани, когда переменчивость событий, прежде естественная, зависящая от переменчивости самого тела, его настроений, его побуждений и пристрастий, ставится под вопрос. Согласно де Серто, это происходит тогда, когда историк утрачивает свою прежнюю привилегированную позицию участника исторических событий, отличную от позиции правителя только тем, что историк оценивает события исходя из своих представлений о благородстве. Такой историк предупреждает, что наличный поступок может оказаться бесславным», то есть о нем не удастся сказать ничего хорошего и он будет заклеен как невнятная пустота. Такой историограф не следует имеющемуся социальному языку, но как правитель проверяет границы языка, проверяет, где язык может подвести, – при этом он опирается не на политическую практику, а на внутреннюю логику самого языка.

В определенный момент в европейской культуре историк становится экспертом, который уже не испытывает границы исторических событий, а только указывает на то место, где эти

исторические события происходят. Такой эксперт, например, может отметить, что глобальные события разыгрываются в масштабе всей страны, тогда как более мелкие заметны только для их непосредственных участников. Де Серто остроумно указывает на то, что именно с этого момента обозримость события начинает отождествляться с его овладением. Если раньше историк, как хранитель исторической речи, исторического «дискурса», мог подсказывать правителю, как обращаться с событиями, то теперь каждый правитель считает себя властителем всех необходимых языковых средств и не нуждается в советах историка. В этой ситуации у историка остается только одна власть, а именно: указывать на границы застывшего языка, подразделяя всемирную историю на «эпохи», а обозримый ему материал социальной коммуникации – на «поколения».

Соответственно, меняется и подход к фактам. Раньше историк, прежде всего, должен был показать неумолимую власть каждого отдельного факта, считаться с которым в политической жизни нужно по тем же причинам, по которым при управлении транспортным средством необходимо считаться с другими транспортными средствами. Теперь историк говорит не о физической, а только о речевой необратимости факта: факт прошлого может никак не соотноситься с фактами настоящего (например, совершенно ясно, что для современности «факты» Древнего Египта не имеют прикладной ценности); но тем не менее он обладает властью над текстом и всякий раз одним своим существованием напоминает нам о неумолимости времени и смерти, о необратимости человеческих решений, каждое из которых преследует вовлеченных в эту ситуацию. В этом смысле де Серто описывает не что иное, как потребление исторических фактов – мы рассматриваем факты, подобно тому как покупатель вертит в руках приобретенную вещь, то пристально вглядываясь в нее, то небрежно скользит по ее поверхности. Но точно так же как в ситуации потребления мы признаем, что наша речь о вещи образована этой вещью, в ситуации восприятия исторического факта мы признаем, что в его отношении мы не можем говорить ни о чем другом, кроме как о его возможных последствиях. И чем серьезнее мы относимся к «урокам истории», тем больше мы становимся потребителями прошлого.

Раньше историк был, прежде всего, стратегом речи; он умел выстроить любую речь так, чтобы она не противоречила законам других жанров: прежняя эпичность приобретала политическую окраску, а пламенность речей исторических персонажей взвешивалась на весах признаваемых здравым смыслом обстоятельств. Теперь историография требует не стратегии, а тактики: историк должен усмирить того «другого» (безумца, «народ» и т. д.), в котором политическая теология признала своего врага. Этот «другой», в отличие от объекта «классической» историографии, никогда не открыт для самого себя. «Варвар» ничего не знает о себе, но его форма настолько открыта для исторического повествования, что любой разговор о «варварах» уже подразумевает определенную стратегию обращения с ними. Кроме того, «другой» не имеет собственной завершенной формы, он постоянно расшифровывает себя, пытаясь проартикулировать язык своего тела, но вместо этого натывается только на обрывки, остатки и руины готовых языковых форм. Соответственно, историография, пытаясь реконструировать позицию «другого», превращает его из объекта прямого исторического действия, из цели политики, в предмет потребления, в экзотику. Именно поэтому де Серто связывает окончательную победу потребления с появлением компьютеров: компьютер позволяет производить любые шифровки и расшифровки, пересчитывать любую информацию, а следовательно, превращать в экзотику, например, традиционную жизнь в той квартире, в которой стоит компьютер, или жизнь в той стране, которая приняла программу компьютеризации.

Когда историк начинает использовать компьютер, он превращает его в машину по производству обособленных фактов: если прежде он сопоставлял уже переработанные и культурно насыщенные факты, то теперь он готов работать с голыми фактами и, более того, получить столь же голые факты на выходе. Соответственно, речь, которая складывается о данном факте, поневоле становится предметом потребления – и де Серто остроумно замечает, что в совре-

менном мире в основном потребляется речь только о том предмете, который может быть произведен здесь и сейчас. Гаджет, техническая новинка или модная вещь, созданная на основе новейших технологий, является более приоритетным предметом потребления, чем натуральный продукт. При этом принцип *readymade*, лежащий в основе современного потребления, де Серто объясняет не тем, что предметы создаются как «вещи имиджевого потребления» (здесь он опять расходится с Бартом и Бодрийяром), а только тем, что они не требуют переработки языка повседневности, а значит, не требуют изменения телесных практик, которое роковым образом повлекла бы за собой такая переработка.

Современное историческое повествование, согласно де Серто, имеет свойства «оксюморона»: оно требует принимать в расчет слова, а не вещи, тогда как с вещами требует обращаться как с живыми существами, блюсти их права и телесную независимость. Оксюморонным является то, что историк вынужден отказаться от полисемии, от многозначности слов, и играть в историю так, как будто каждое слово имеет только одно значение, как будто экономика – это только развитие финансового могущества, а политика – только совместное преодоление конфликтов. В результате получается, что любая бытовая речь становится предметом потребления – если раньше историческое высказывание о фактах отличалось от бытового только большей стратегической продуманностью, то теперь оно отличается тем, что целиком присвоено говорящими и само является мощнейшим инструментом присвоения исторического опыта. Соответственно, бытовое высказывание, как неприсваиваемое, начинает потребляться по законам бытового потребления, которые становятся все более общепринятыми.

С изменением статуса истории изменяется и статус документа. В классической историографии документ имел практическое значение: он свидетельствовал о непосредственном распределении властью своих полномочий и одновременно утверждал границы власти. Тогда как в современном мире документ – это не средство распределения власти, а средство ее потребления: документ уже не служит передаче части суверенитета и свободы, которая потом будет истолкована авторитетным историческим текстом, а позволяет присвоить себе те готовые решения, готовые механизмы, которые связаны с осуществлением власти.

Историк в таком случае, согласно де Серто, уже не участвует в производстве власти – он разыгрывает различные ситуации осуществления власти, экспериментирует с тем, как правитель может мотивировать свои поступки, и в этом смысле ничем не отличается от азартного игрока, который пытается угадать, какой ход противника наиболее вероятен. И положительное социальное действие в таком случае возможно только тогда, когда само общество начинает потреблять все существующие практики власти. До этого существует только одно потребление: потребление правителем слов историка. Правитель соблазняется словами историка, но при этом дистанцируется от этих слов, признавая в них только имитацию политики, а не раскрытие реального политического знания, которым владеет только практикующий политик. Де Серто остроумно отмечает, что чем точнее историк вскрывает причины событий, тем дальше от реальности он оказывается: соблазнив политика, его речь тут же отодвигается в сторону ради потребления уже более реального «тела власти», содержания власти.

Если политики потребляют власть как скопление материальных и моральных ресурсов, а не как общественное согласие или героическое действие, то носители обыденной речи, простые люди, начинают потреблять воспоминания: фотографии, свидетельства, бытовые безделушки прошлых периодов истории. Изменяется функция всех этих мелких свидетельств: если когда-то они сообщали о непрерывности исторической воли, реликвии которой в их материальной осязательности всегда остаются одними и теми же, то теперь они, напротив, утверждают возможность новой исторической воли, которая может быть соблазнена простой памятью, таящейся в вещах, и развернуться, поддавшись этому соблазну. Такова, например, деятельность политической партии: она обращается с интересами отдельных групп и слоев населения не как со стимулами для более широкого или открытого социального действия, а как с соблазном,

превращающим решение реальных социальных проблем в стимул для спонтанного политического решения.

В свою очередь, потребление вещей выстраивается как попытка отстраниться от соблазнов: де Серто утверждает, что потребитель вещей подменяет соблазн его имитацией. Он стремится больше заработать, чтобы приобрести больше вещей, но вовсе не потому, что он действительно соблазнен вещами. Он пытается разыграть ситуацию соблазна, точно так же как историк, который пишет о политике, разыгрывает политическое действие, пытаясь создать эффект реальности с помощью прояснения некоторых причин политических решений. Точно так же потребитель вещей разыгрывает на поле своего быта ситуацию свободного и мотивированного потребления, хотя на самом деле он руководствуется только несколькими поучительными моральными формулами, которые обосновывают все его усилия в этом направлении.

Здесь де Серто опять же расходится с постструктуралистскими теоретиками потребления. Постструктуралисты связывали соблазн с насилием: автор с помощью языковых средств (в которых заключено насилие) создает образ действительности, в дальнейшем отменяющий реальность самого автора («смерть автора», по Ролану Барту), потому что язык оказывается сильнее частной исторической воли. Де Серто, напротив, утверждал, что соблазн не есть насилие над природой, что на самом деле сама природа совершает насилие и, вызванная к действию языковыми формулами, соблазняет автора и заставляет его принимать те решения, о которых он прежде не думал и которые не подразумевались в готовых языковых формулах. Поэтому де Серто мыслит потребление вещей не как попытку отождествить границы соблазна с границами природы (чтобы соблазнительное выглядело как природное и наоборот), но, напротив, как попытку раздвинуть эти границы, подчинив политику и экономику достаточно понятному человеческому желанию избежать соблазнов.

Более подробное описание такого азарта де Серто дал в своем рассуждении о происхождении капитализма, полемически заостренном против главенствующих в XX веке политэкономических объяснений. Так, с точки зрения де Серто, Макс Вебер виновен в том, что принял простые особенности поведения человека при капитализме за метафоры его социальной и экономической активности. Вебер обратил внимание на поведение рабочего, который, пытаясь любыми силами удержать недавно обретенное мировоззрение, начинает вести себя по законам других сред: он превращается в торговца, воина, ремесленника и следует этой своей новой роли гораздо вернее, чем традиционный торговец, воин или ремесленник, и теперь возмещает провалы в своем историческом опыте повышенной агрессивностью, покорением новых стран и континентов. В том же направлении мыслил и Ф. Бродель, с тем отличием, что он заменил индивидуальное сознание коллективным: коль скоро рабочий начинает принадлежать к сообществу рабочих, которое в чем-то напоминает сообщество купцов или капиталистов, то капиталисты могут использовать это сходство для усиления эксплуатации рабочих, обещая им лучшее будущее. Причем рабочие легко поддаются на эту уловку, потому что они слишком увлечены становлением другого коллектива, тягой к разным коллективам. Они могут восстать против этого обмана только путем полного отказа от своей идентичности, из ничего став «всеми».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.